# Дом Ивана Ивановича Дмитриева

***Я помню этот дом, я помню этот сад:
 Хозяин их всегда гостям своим был рад,
 И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,
 Улыбка светлая и прелесть умной речи.
 Он в свете был министр, а у себя поэт,
 Отрекшийся от всех соблазнов и сует;
 Пред старшими был горд заслуженным почетом:
 Он шел прямым путем и вывел честным счетом
 Итог своих чинов и почестей своих.
 Он правильную жизнь и правильный свой стих
 Мог выставить в пример вельможам и поэтам,
 Но с младшими ему по чину и по летам
 Спесь щекотливую охотно забывал;
 Он ум отыскивал, талант разузнавал,
 И где их находил — там, радуясь успеху,
 Не спрашивал: каких чинов они иль цеху?
 Но настежь растворял и душу им, и дом.
 Заранее в цветке любуяся плодом,
 Ласкал он молодежь, любил ее порывы,
 Но не был он пред ней низкопоклонник льстивый,
 Не закупал ценой хвалебных ей речей
 Прощенья седине и доблести своей.
 Вниманьем ласковым, судом бесстрастно-строгим
 Он был доступен всем и верный кормчий многим.
 Зато в глупцов метка была его стрела!
 Жужжащий враль, комар с замашками орла,
 Чужих достоинств враг, за неименьем личных;
 Поэт ли, образец поэтов горемычных;
 Надутый самохвал, сыгравший жизнь вничью,
 Влюбленный по уши в посредственность свою
 (А уши у него Мидасовых не хуже);
 Профессор ли вранья и наглости к тому же;
 Пролаз ли с сладенькой улыбкою ханжи;
 Болтун ли, вестовщик, разносчик всякой лжи;
 Ласкатель ли в глаза, а клеветник заочно, —
 Кто б ни задел его, случайно иль нарочно,
 Кто б ни был из среды сей пестрой и смешной,
 Он каждого колол незлобивой рукой,
 Болячку подсыпал аттическою солью —
 И с неизгладимой царапиной и болью
 Пойдет на весь свой век отмеченный бедняк
 И понесет тавро: подлец или дурак.

Под римской тогою наружности холодной,
 Он с любящей душой ум острый и свободный
 Соединял; в своих он мненьях был упрям,
 Но и простор давать любил чужим речам.
 Тип самобытности, он самобытность ту же
 Не только допускал, но уважал и вчуже;
 Ни пред собою он, ни пред людьми не лгал.
 Власть моды на дела и платья отвергал:
 Когда все были сплошь под черный цвет одеты,
 Он и зеленый фрак, и пестрые жилеты
 Носил; на свой покрой он жизнь свою кроил.
 Сын века своего и вместе старожил,
 Хоть он Карамзина предпочитал Шишкову,
 Но тот же старовер, любви к родному слову,
 Наречием чужим прельстясь, не оскорблял
 И русским русский ум по-русски заявлял.
 Притом, храня во всем рассудка толк и меру,
 Петрова он любил, но не в ущерб Вольтеру,
 За Лафонтеном вслед он вымысла цветы,
 С оттенком свежести и блеском красоты,
 На почву русскую переносил удачно.
 И плавный стих его, струящийся прозрачно,
 Как в зеркале и мысль и чувство отражал.
 Лабазным словарем он стих свой не ссужал,
 Но кистью верною художника-поэта
 Изящно подбирал он краски для предмета:
 И смотрят у него, как будто с полотна,
 Воинственный \_Ермак\_ и \_Модная жена\_.

Случайно ль заглянусь на дом сей мимоходом —
 Скользят за мыслью мысль и год за дальним годом,
 Прозрачен здесь поток и сумрак дней былых:
 Здесь память с стаею заветных снов своих
 Свила себе гнездо под этим милым кровом;
 Картина старины, всегда во блеске новом,
 Рисуется моим внимательным глазам,
 С приветом ласковым улыбке иль слезам.

Как много вечеров, без светских развлечений,
 Но полных прелести и мудрых поучений,
 Здесь с старцем я провел; его живой рассказ
 Ушам был музыка и живопись для глаз.
 Давно минувших дней то Рембрандт, то Светоний,
 Гражданских доблестей и наглых беззаконий
 Он краской яркою картину согревал.
 Под кисть на голос свой он лица вызывал
 С их бытом, нравами, одеждой, обстановкой;
 Он личность каждую скрепит чертою ловкой
 И в метком слове даст портрет и приговор.

Екатерины век, ее роскошный двор,
 Созвездие имен сопутников Фелицы,
 Народной повести блестящие страницы,
 Сановники, вожди, хор избранных певцов,
 Глашатаи побед Державин и Петров —
 Всё облекалось в жизнь, в движенье и в глаголы.

То, возвратясь мечтой в тот возраст свой веселый,
 Когда он отроком счастливо расцветал
 При матери, в глазах любовь ее читал,
 И тайну первых дум и первых вдохновений
 Любимцу своему поведал вещий гений, —
 Он тут воспоминал родной дубравы тень,
 Над светлой Волгою горящий летний день,
 На крыльях парусов летящие расшивы,
 Златою жатвою струящиеся нивы,
 Картины зимние и праздники весны,
 И дом родительский, святыню старины,
 Куда изда
 лека вторгалась с новым лоском
 Жизнь новая, а с ней слетались отголоском
 Шум и событья дня, одно другому вслед:
 То задунайский гром румянцовских побед,
 То весть иных побед миролюбивой славы,
 Науки торжество и мудрые уставы,
 Забота и плоды державного пера,
 То спор временщиков на поприще двора,
 То книга новая со сплетнею вчерашней.
 Всю эту жизнь среды семейной и домашней,
 Весь этот свежий мир поэзии родной,
 Еще сочувственный душе его младой,
 Умевшей сохранить средь искушений света
 Всю впечатлительность и свежесть чувств поэта, —
 Всё помнил он, умел всему он придавать
 Блеск поэтический и местности печать.
 Он память вопрошал, и живописью слова
 Давал минувшему он плоть и краски снова.

То, Гогарта схватив игривый карандаш
 (Который за десять из новых не отдашь),
 Он, с русским юмором и напрямик с натуры,
 Из глупостей людских кроил карикатуры.
 Бесстрастное лицо и медленная речь,
 А слушателя он умел с собой увлечь,
 И поучал его, и трогал — как придется,
 Иль со смеху морил, а сам не улыбнется.
 Как живо памятны мне эти вечера:
 Сдается, старца я заслушался вчера.

Давно уж нет его в Москве осиротевшей!
 С ним светлой личности, в нем резко уцелевшей,
 Утрачен навсегда последний образец.
 Теперь все под один чекан: один резец
 Всем тот же дал объем и вес; мы променяли
 На деньги мелкие — старинные медали;
 Не выжмешь личности из уровня людей.
 Отрекшись от своих кумиров и властей,
 Таланта и ума клянем аристократство;
 Теперь в большом ходу посредственности братство;
 За норму общую — посредственность берем,
 Боясь, чтоб кто-нибудь владычества ярем
 Не наложил на нас своим авторитетом;
 Мы равенством больны и видим здравье в этом.
 Нам душно, мысль одна о том нам давит грудь,
 Чтоб уважать могли и мы кого-нибудь;
 Все говорить спешим, а слушать не умеем;
 Мы платонической к себе любовью тлеем,
 И на коленях мы — но только пред собой.

В ином и поотстал наш век передовой,
 Как ни цени его победы и открытья:
 В науке жить умно, в искусстве общежитья,
 В сей вежливости форм изящных и простых,
 Дававшей людям блеск и мягкость нравам их,
 Которая была, в условленных границах, —
 Что слог в писателе и миловидность в лицах;
 В уживчивости свойств, в терпимости, в любви,
 Которую теперь гуманностью зови;
 Во всем, чем общество тогда благоухало
 И, не стыдясь, свой путь цветами усыпало,
 Во всем, чем встарь жилось по вкусу, по душе,
 Пред старым — новый век не слишком в барыше.
 Тот разговорчив был: средь дружеской беседы
 Менялись мыслями и юноши и деды,
 Одни с преданьями, плодами дум и лет,
 Других манил вперед надежды пышный цвет.
 Тут был простор для всех и возрастов, и мнений
 И не было вражды у встречных поколений.

Так видим над Невой, в прозрачный летний день,
 Заката светлого серебряная тень
 Сливается в красе, торжественной и мирной,
 С зарею утренней на вышине сафирной:
 Здесь вечер в зареве, там утро рассвело.
 И вечер так хорош, и утро так светло,
 Что радости своей предела ты не знаешь:
 Ты провожаешь день, ты новый день встречаешь,
 И любишь дня закат, и любишь дня рассвет, —
 И осень старости, и весну юных лет.***